

INSPIRIA

# ПАРТИЯ ЖЕРТВЫ

Ирина  
Кавинская



INSPIRIA

Universum. Магический реализм Ирины Кавинской

Ирина Кавинская

**Партия жертвы**

«ЭКСМО»

2022

УДК 821.161.1-312.9  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Кавинская И.**

Партия жертвы / И. Кавинская — «Эксмо», 2022 — (Universum.  
Магический реализм Ирины Кавинской)

ISBN 978-5-04-173582-1

Магический реализм о балерине, переехавший в таинственный Петербург. Одержимость, атмосфера, искусство. Алина – юная балерина. Она грезит театральной мистикой и мечтает в дебютном спектакле доказать, что является Воплощением Искусства – танцовщицей нездешнего дара, чья виртуозность не сравнима с мастерством, доступным человеку. Она борется за главную роль, не подозревая, какая партия ждёт её на самом деле. Роман вошел в шорт-лист премий «Электронная буква» и «Новая детская книга».

УДК 821.161.1-312.9  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-173582-1

© Кавинская И., 2022  
© Эксмо, 2022

## Содержание

Пролог	6
Глава 1	7
Глава 2	13
Глава 3	15
Глава 4	19
Глава 5	23
Глава 6	26
Глава 7	29
Конец ознакомительного фрагмента.	34

# Ирина Кавинская

## Партия жертвы

Иллюстрация на обложке – *Noora Pine*

© Кавинская И., текст, 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

\* \* \*



Эта книга – о блеске и сумраке Петербурга.

О всепоглощающей страсти, известной лишь тем, для кого свет софитов затмевает солнце, а триумф идет рука об руку с агонией. И, разумеется, об Искусстве – требовательном, ревнивом и беспощадном.

Яркая, затягивающая. До мурашек настоящая.

*Вячеслав Бакулин, начальник отдела фантастики*

## Пролог

Старое здание Мариинского театра выгорело почти дотла. Я иду сквозь почерневший от копоти зал среди хаоса обугленных и покорёженных стульев к оркестровой яме. С огромной дырой вместо сцены она похожа на разверзнутый зев.

Ненасытная пасть Искусства – вот что передо мной. Пллотоядная глотка. Примы, премьеры, солисты, корифеи, кордебалет... Все сгинут. Останутся только Воплощения.

Что такое балет, как вы думаете? Партитура, рисунок танца и хореографический текст с подробным описанием каждой позы и каждого жеста? Ха! Всё это не более чем стопка макулатуры. И жалкие кривляния пятого лебедя в заднем ряду не танец, а только подёргивание мышц.

Вы когда-нибудь чувствовали, глядя на сцену, как по спине ползут мурашки? Забывали дышать, ощущая каждое движение танцора как своё собственное? Это вы несётесь вихрем в тур анлер, вы взмываете над сценой в немыслимом баллоне... Кажется, будто вы проспали весь спектакль, но сон был волшебным. Вас окутывает приятная усталость. Большинству не дано почувствовать ничего подобного, но если с вами случилось такое, значит, вы действительно видели балет.

И на ваших глазах билось в агонии живое Воплощение Искусства.

Сложнейшие партии, после которых заскорузлые от пота и крови вкладки в пуанты не отодрать от кожи, – суть агония. Но в ней-то оно и живёт. Искусство. Живёт лишь два часа, пока идёт спектакль. Потом опускается занавес, и стихают последние аплодисменты, знаменуя его смерть.

Последние зрители ещё топчутся в ложах, а по залу уже расползается тошнотворно-сладкий запах тлена. Обонятельное послевкусие боли. Сцена пропитана потом, который перебивает этот смрад. Но если спуститься в опустевший зал, дыхание перехватывает. Кажется, будто находишься в могиле. Теперь так и есть.

Они боятся обрушений, и здание театра оцеплено, но я прихожу каждый день. Здесь очень холодно. Гулкие отзвуки шагов в пустынном зале стихают не сразу, как будто кто-то крадётся по моим следам. Я замираю и вдыхаю плесневелую сладость, которая разом сгущается вокруг. Тот, кто ходит за мной... Теперь я знаю, кто ты.

# Глава 1

## Алина

### Вечерний класс

Первая позиция. Я сливаю гран-плие. Ужасное чувство: я лажаю, но не могу скорректировать движение. Приседаю, а колени идут не туда, и я знаю, что дальше будет только хуже. Сажусь ещё глубже, сгибая ноги по-лягушачьи, и понимаю, как жалко это выглядит. А он смотрит. И тоже понимает это. И понимает, что я понимаю.

Мы встречаемся глазами, и мой взгляд кричит: «Знаю! Знаю! Знаю! Пожалуйста, ничего не говорите!» И он молчит. Пока. Даёт возможность выправить позу самой. Пот холодит спину. Но это ещё не тот липкий и горячий пот, которым купальник пропитается насквозь после больших батманов – к концу работы у станка. Этот холодный, мерзкий. От осознания, что я лажаю. Лажаю под взглядом репетитора в свой первый день в Вагановке.

Вчера для меня начался февраль в Питере. Дикий холод и толчея. Невский проспект звенел китайским «дзинь-дзянь», а от вспышек камер на телефонах было светло, как днём. Я неслась с чемоданом от самого вокзала – нужно было успеть в академию до закрытия, встретиться с ректором и забрать ключи от квартиры. В общежитие меня не поселили: нет мест.

Путь от площади Восстания до улицы Росси оказался тем ещё приключением. Только что сыпавший снег спустя пару минут хлопал под ногами грязной жижей. Жуткие бутафорские зебры и осьминоги тыкали мне в лицо какими-то афишами, впихивали листовки. Попыталась увернуться, но с чемоданом оказалось не просто: весь этот мусор осел-таки в моих карманах. «Спа-салон». «Тайский массаж». «Экскурсии по центру. Знаю каждый дом»... Каждый дом? Как такое вообще возможно, когда они тут друг на друге громоздятся? Это тебе не Пермь, где весь центр – два с половиной здания...

Наконец, передо мной был большой театр. Большой – в смысле размера. Но он и внешне походил на тот Большой, о котором я в детстве мечтала. Сейчас знаю: туда мне путь заказан. Даже в кордебалет. Да что там, даже в миманс.

Академия обнаружилась сразу за театром. Вахтёр пропустил меня, скривившись от просьбы последить за чемоданом. Только полчаса – не больше – смена уже закончилась, а ночевать в «этом месте» он «не подражался».

Академия русского балета. Великая Вагановка... Поднимаясь по лестнице, я вглядывалась в портреты великих балерин: Павлова, Спесивцева, Уланова...

Говорят, они шепчутся, увидев Воплощение.

Я замерла, напрягая слух, но в мрачной тишине слышались лишь завывания ветра – сквозняк вырывался из второго этажа и гулял по лестнице.

Чем пристальнее я разглядывала портреты, тем меньше они казались похожими на те открыточные репродукции, которые знает каждая балетная девочка. В приглушённом свете силуэты балерин выглядели кривыми, исковерканными. Не арабеск, а обречённый, бросающийся с обрыва в бездну. Не экарте, а утопающий, хватающийся за несуществующую соломинку. Не тирбушон, а бледное тело, околеченное в неестественной поломанной позе.

Лестница упиралась в полутёмный коридор. Проходя по нему, я оглядывала сквозь стеклянные дверные вставки залы для занятий: где-то среди них тот, в котором умерла ученица...

Интернет бурлил после того случая, но не прошло и месяца, а уже можно «угуглиться», пытаюсь отыскать о нём хоть что-то. Сначала имя девочки пропало из заголовков, а следом и все упоминания о ней исчезли. Правду так и не узнали. Искусство умеет хранить свои секреты.

Свет горел только в дальнем конце коридора – в приёмной ректора.

Далеко не лучшая в Пермском, переводясь в Питер на выпускном курсе, я понимала, что меня ждёт. Точнее, примерно понимала. Я думала: «Ну не поставят в центр, и ладно. Тянуть гран-батман хоть у всех на виду, хоть в дальнем углу класса – всё одно...» Я не ожидала, что меня вообще не пустят в этот самый класс и я окажусь в вечернем – для отстающих.

Самсонов – ректор – сказал, что это всего на три недели, до постановки. Выпускники ставят «Сильфиду» на сцене Мариинского ко Дню работника культуры, и он принял «педагогическое» решение не вводить меня в основной класс до премьеры. «Сейчас, когда у детей весь день занят репетициями, не совсем подходящее время». Или не совсем подходящая я.

Стол ректора сплошь заставлен сувенирными фигурками и статуэтками – балетными, конечно. Фарфоровые и латунные балеринки с тонкими ручками и точёными ножками выглядят совершенством, но не способны двигаться. И поэтому не имеют ничего общего с балетом. Та, что на самом краю, вытянулась в пятой на полупальцах.

– Стоять! – срывается на крик Виктор Эльдарович, репетитор, когда мы в классе входим в эту позу. – Держать! – визжит он и отсчитывает: – Три, четыре... Десять... Двадцать... Ещё! Держим! Ещё!

Вот и он. Тот самый пот: липкий и горячий.

Рассматривая фигурки на столе, я думала о том, что оживи они все вдруг, и кабинет ректора насквозь пропитался бы вонью потных тел и старых пуантов. Но здесь пахло... Мятой. Самсонов брызнул на руки из флакончика, растёр ладони и глубоко вдохнул аромат, напоми- навший бабушкин чай.

Я ждала его внимания, но он не спешил возвращаться ко мне: продолжал то и дело ёжиться и нервно дёргаться, как минуту назад, когда отчитывал секретаршу за безвкусно сделанные программки к предстоящему спектаклю:

– Аллочка, дорогая, ну что это? Кто? Как?! – Он сжал лоб длинными костлявыми пальцами, словно мучаясь приступом головной боли. – Он из Консерватории, конечно, этот ваш новый художник?

Секретарша виновато кивнула. Самсонов тряхнул головой, словно пытаясь сбросить то, что видел перед собой, как наваждение, и блестящие чёрные волосы упали на лоб. На фоне пересекавших его глубоких морщин они выглядели странно: уж лучше бы с проседью как-то красил – смотрелось бы гораздо естественнее.

– Нет! Нет! И нет! Уберите эту красноту! – продолжал возмущаться он. – И шрифт не тот, и вот эти вензеля – безвкусица какая, ну что это? Откуда? Консерваторские любят такое, но среди балетных это моветон! Есть классический вариант программы Мариинского, его и возьмите за основу! Мы выступаем в лучшем театре страны, но то, что вы мне предлагаете... Ну этот вариант для бродячего цирка шапито. Никогда, дорогая моя!

Девушка слушала, потупив взор.

– И ваша невнимательность, Аллочка, я должен сказать! Это уже не в первый раз у нас с вами. Ещё одна подобная история, и я буду вынужден задуматься о том, насколько вы уместны здесь!

Аллочка залепетала какие-то оправдания, долго извинялась, обещая всё исправить, но наконец бесшумно скользнула за дверь, забрав со стола злополучную программку, к которой Самсонов брезговал даже прикасаться.

Я тоже не стала бы трогать её. Пестривший аляповатой краснотой листок напомнил мне другой – тот, что я держала в руках много лет назад. Куций, отпечатанный на дышавшем на ладан принтере гарнизонного дома офицеров, он сплошь был покрыт узором, что называется, «с претензией»: там были трубящие толстощёкие купидоны, нелепые завитки, какие-то шпаги, развевающиеся флаги...

Если смотреть не моргая, сквозь пестроту рисунка, словно застывшие театральные маски, проступали искажённые лица. В них мне виделись злоба, боль, ужас. Я разглядывала листок



под разными углами, стараясь уловить новые и новые выражения, но красивых и счастливых лиц не выходило: только перекошенные гримасы. Когда воображение иссякло, я переключилась на текст – в программке были отпечатаны фамилии выступавших. Расплывшиеся чернила делали их едва читаемыми, но одно имя я хорошо знала: моя мама танцевала в тот вечер. Тогда-то на сцене я и видела её в последний раз.

Когда мы остались наедине, ректор уставился на меня так, словно за эти пять минут разборок с секретаршей успел уже напрочь забыть о том, кто я такая, но спустя секунду в его взгляде появилась ясность и... разочарование.

Он спросил о причине моего перевода. Снова. Я повторила: мой папа военный, и его направили служить в Ленинградскую область. От этих слов Самсонов сначала сморщился, а потом всплеснул руками и снова схватился за голову.

Он, конечно, уверен, что отец должен был оставить меня в Перми – дать закончить училище. Самсонову невдомёк, что для отца танцы – блажь, а не профессия, и он решил, что если мне не светит будущее примы, то нет смысла «носиться с этим балетом», а надо думать о поступлении в «нормальный вуз». Мне повезло, что он дал добро на то, чтобы в Питере я жила отдельно. Правда, я соврала, что мне дали место в общежитии.

Самсонов слушал меня со скорбным выражением лица – для него общение с теми, кто не «в балете», сродни кошмару наяву. А потом резко сменил тему.

– Алиночка, я рад, что мы поняли друг друга... Относительно вашего ввода в класс, – он поджал губы. – Это вынужденная мера, пока не схлынет напряжение. Эта постановка... Не выпускной спектакль, конечно, но суть та же. Это дебют на сцене Мариинки для большинства наших ребят и... Ну, сами понимаете, всё серьёзно. А вы... Ну, вы – конкурентка, да, – он покашлял, – я хочу сказать, что они так считают, девочки нервничают, конечно. И мальчики тоже. А сейчас это не нужно.

Я кивнула – не нужно, так не нужно.

– Пока поработаете с Виктором Эльдаровичем, – продолжал Самсонов. – Это прекрасный репетитор. Он посмотрит на вашу технику, скорректирует, что нужно. А уже потом начнёте посещать дневные классы. После спектакля мы начинаем подготовку к государственному экзамену – вы будете готовиться вместе со всеми. Ну а эта пара недель вам поможет войти в ритм, посмотреть на наши требования. Пермское – одно из лучших в стране, но здесь у нас всё немножко по-другому, вы должны понимать.

Понимаю, ещё бы нет. И я уже готова была мысленно поблагодарить его за то, что не сказал самое главное и самое ужасное. Но он сказал.

– И что касается... Вашего будущего в балете, – Самсонов снова поджал губы. – Вы понимаете, что я должен об этом сказать сейчас, чтобы не было недопонимания. Конечно, всё это может открыться только на сцене в полноценном дебютном спектакле и, хотя мы с педагогами видели ваши вариации, мне сложно сейчас...

Он замолчал и шумно выдохнул, собираясь с силами для того, чтобы вынести мне приговор:

– Одним словом, Аллочка... Ой, Алиночка, прошу прощения, дорогая... Одним словом, вероятность того, что конкретно вы являетесь очередным Воплощением Искусства, крайне мала.

Он ждал моей реакции, но я едва кивнула. Мала! Да она равна нулю, эта вероятность! Я не Воплощение. Я знаю. Лучше тебя, лучше всех вас. Но я танцевала задолго до того, как поняла это, и танцевала после.

Да и он сам – бывший премьер Мариинки, Заслуженный деятель культуры, лауреат бесчисленного числа премий – тоже не Воплощение. «Всего лишь» великолепный танцовщик. Человек.

Для «не балетных» это, наверное, прозвучит бредом, но те, кого мы называем Воплощениями Искусства, – не люди. Как и многие центральные образы балетных спектаклей, они – мистика. Нереальные создания, наподобие Королевы лебедей, Вилис или Сильфиды. Они не играют эти роли, наоборот, выходя на сцену, показывают то, кем являются на самом деле. Их только на сцене и можно заметить. Никогда в классе или репетиционном зале – только на сцене. В свете рампы открывается их истинная суть. У Воплощений отличная от людей физика, не ограниченная сбившимся дыханием, хрупкостью костей или перенапряжением мышц. Они рождаются раз в десятилетие – одна балерина и один танцор из тысяч.

Как и каждый в балетном мире, я мечтала оказаться среди них. Танцевала только ради этого одного, уверенная, что стоит мне взойти на подмостки, как сцена откроет всем, кто я такая на самом деле. Но в училище я не была в топе, и мне не давали ролей.

За глаза девочки называют репетитора Виктор, с ударением на второй слог. Он тощий и прямой, как будто палку проглотил. Голова чуть запрокинута назад, словно он собирался отвесить классический балетный поклон, но у него защемило шею. Так он и ходит, глядя на всех сверху вниз, чуть наклоняя голову вперёд, только если доволен тем, что видит. Здесь, в классе для отстающих, это случается редко. Разве что он смотрит на Женю. Это лучшая девочка с выпускного курса. Она из небожителей, её высоченному баллону не место среди жалких потуг остальных. Она помогает Виктору вести класс.

Это ж надо так визжать! Ему бы в оперу на женские партии, да не возьмут – он ещё и картавит жутко. Пока он обращается не ко мне, это можно выносить. Но в первом арабеске, случайно задев ногой стоящую позади девочку, я чувствую, как к лицу приливает жар, и понимаю, что скоро – совсем скоро – придёт и мой черёд.

М-да... Секретарша у Самсонова и правда не блещет внимательностью: всучила мне ключи от квартиры, ни словом не упомянув о том, что жилплощадь как бы совсем не пустует! У меня чуть ноги не отнялись от ужаса. С трудом втащив чемодан на последний шестой этаж, я вставила длинный и плоский, как лезвие для подрезания пуантов, ключ в замочную скважину, и на тебе: заперто изнутри.

Тяжёлая щеколда железного засова раз за разом ударялась о косяк, когда я дёргала дверь на себя. А потом изнутри послышался скрип половиц, и на пороге возникла растрёпанная старуха. Я решила, что ошиблась адресом. Но всё оказалось куда интереснее.

– А, из Вагановки? Позднёхонько, – старуха, шаркая, отступила в сторону, пропуская меня в квартиру. – Входи, дочка, входи.

Старая балетоманка завещала квартиру академии, и они не стесняются распоряжаться ею по своему усмотрению, не дожидаясь момента, когда последняя воля хозяйки вступит в силу: Эльвира Альбертовна – так её зовут – рассказала, что я уже не первая из студентов, кто селился у неё.

Квартирка, конечно, ещё та... Из плюсов только расположение: сразу за Невским, до академии рукой подать. Но вот внутри... Один шаг с порога, и ты на кухне, отгороженной от прихожей посеребрившим от пыли доисторическим буфетом. Шаг вправо – почерневшая от гари газовая колонка, шаг влево – обеденный стол, покрытый липкой клетчатой клеёнкой. Потолок в паутине трещин, а на дощатом полу – протёртый до дыр палас. Я споткнулась о него, проходя через кухню в свою комнату.

Эта квартира, как объяснила хозяйка, «огрызок от бывшей барской». На самом деле она намного больше – пятикомнатная, что ли. После революции была коммуналкой, а в пятидесятых её разделили на две. Трёхкомнатной достался вход с парадной лестницы. Двухкомнатной, в которой я теперь живу, осталось довольствоваться чёрным.

Моя комната – совсем крохотная – примыкает к кухне. Хозяйка живёт через стену, к ней ведёт узкий коридор за буфетом. Там же, в коридоре, дверь в кладовку, которую она называет чуланом, и ванная с туалетом.

Эльвира Альбертовна оказалась «само гостеприимство» – и шагу не давала мне ступить, предлагая то «чайёк», то котлетки, которые «вот-вот подойдут». Ну да, в десять часов вечера самое время! Мой ужин – гречневая каша и пол-яйца. Вторая половина пойдёт на завтрак вместе с обезжиренным творогом.

От чая я не отказалась, но тут же пожалела об этом, заметив на кромке кружки грязно-серые разводы – та же липкая грязь покрывала всё на кухне. Эльвира Альбертовна, правда, долго извинялась за беспорядок, признавшись, что после инсульта у неё не осталось сил держать в чистоте настолько ветхую квартиру. Похоже, приглашая вагановских к себе, она рассчитывала на помощь в её содержании. Но с этим никто не спешил.

Последствия инсульта сказались и на её внешности: мутно-белёсые глаза, трясущиеся руки и наполовину застывшее лицо, которое, стоит ей улыбнуться, выглядит перекошенным.

Улыбалась она часто, особенно когда говорила о балете. Вращая негнущимися пальцами тяжёлую ручку прикрученной к столу мясорубки, Эльвира Альбертовна рассказывала о том, что сама когда-то танцевала.

Она повторила это уже несколько раз, но я смотрела на её оплывшую фигуру под выцветшим засаленным халатом, стоптанные тапки на широких ступнях и в упор не могла разглядеть в ней балерину. Из сценического у неё был разве что парик. Эту деталь я, признаться, поначалу упустила, но она призналась сама, сдвинув шапку искусственных волос со лба и обнажив рыбую лысую кожу. Когда она убрала руку, на волосах остались ошмётки мяса.

Оказалось, Эльвира Альбертовна закончила Вагановку в сорок первом году, а выпускной спектакль танцевала уже в эвакуации. Потом переболела тифом, и кости стали хрупкими, а растяжка ушла. Она так и не вышла на сцену Мариинки, хотя и проработала там всю жизнь – сначала кем-то типа завхоза, а потом в пошивочном цехе («Каждый коридор, каждый закуток в театре знаю...»).

О балете она говорила с придыханием. Ржавая мясорубка скрипела, раскачивая рассыпавшийся стол и выплёвывая в тазик жидкие кучки неаппетитного сероватого фарша, а она разливалась трелями о том, как смотрела дебютный балет Лопаткиной из-за кулис и как провожала Захарову, когда та уходила в Большой. Она и на меня смотрела как-то по-особенному, как будто я – фарфоровая кукла со стола ректора – часть мира грёз.

Но для меня он – этот мир – больше походил на скрежетавшую передо мной мясорубку. Я попала туда маленькой девочкой, а теперь он вот-вот будет готов изрыгнуть меня красно-белыми ошмётками, которые с неприятным звуком шлёпались в тазик. Театру не нужны отбросы. Театру нужна котлетка. А мне нужна работа. И это значит, что надо во что бы то ни стало попасть в театр.

В моей комнате царил полумрак: плафон лампы под высоченным потолком зарос грязью настолько, что едва просвечивал. Затхлый воздух. В шкафу пакеты, набитые каким-то тряпьем. На стене ковёр, вобравший в себя всю пыль этого мира...

Мне хотелось одного – умыться и лечь. Кухонная газовая колонка, гревшая водопроводную воду, с виду походила на ту, к которой я привыкла в гарнизонной квартире в Перми, где мы с папой прожили последние семь лет. Там я с лёгкостью поджигала фитиль вслепую, здесь же сделать это, не заглядывая в прорезь, оказалось нереально. Но и наклоняться вплотную к ней было опасно: фитиль загорался не сразу, а скапливавшийся при этом газ вспыхивал, пламенем вырываясь из дырки.

Когда это случилось впервые, я поняла, почему колонка выглядит насквозь выгоревшей: мне обожгло руку так, что сжурился лак на ногтях. Закусив губу от боли, я бросилась к раковине и повернула кран холодной воды. Облегчение пришло сразу, но я продолжала держать руку под струёй, вспоминая, захватила ли из дома мазь от ожогов.

Боль отвлекла меня, и прошло немало времени, прежде чем я заметила, что текло из крана. «Вода» – наименее подходящее слово. Ржавая до черноты жижа, как будто кран не

открывали тысячу лет. Внутри всколыхнулась брезгливость: мне не хотелось, чтобы эта грязь касалась меня, но стоило отнять руку, как кожа начинала гореть.

Жидкость оставила красно-бурые разводы на руках, и пахли они теперь отвратительно – застоявшимся болотом и плесенью. Запах въелся настолько, что я чувствовала его даже ночью, лёжа в постели. Хуже того, мне казалось, что он пропитал комнату насквозь, отравив воздух. Я открыла форточку, но это не помогло: ни ветерка, ни дуновения не проникало ко мне, как будто окно оставалось наглухо закрытым. В горле саднило: я помню, что закашлялась во сне. Мне не хватало воздуха и снилось, что кто-то душил меня.

## Глава 2

### Женя

### Вечерний класс

Да уж... Зря время потратила. Нет бы успокоиться после Каринкиной травмы, а я, наоборот, стала какая-то дёрганая. Приспичило посмотреть на новенькую. Лучше бы вообще не знала, что она перевелась! Виктор, конечно, скакал от радости, когда услышал, что я готова помогать в вечернем классе. Какой бред! Евгения Пятисоцкая в классе «для отсталых»!

Моя фамилия уже в афишах: я – Сильфида, неуловимый дух воздуха. Репетирую днями и ночами так, что не то что пальцев, ступней не чувствую! Серьёзно. На днях в ванной неудачно угодила ногой прямо под дверь, содрала кожу, поцарапала пальцы – ни намёка на боль.

Но мне же больше всех надо, как всегда. Не удержалась. Решила хоть одним глазом взглянуть на то, что нам подсунули за пару месяцев до выпускного. И зря потратила время. Теперь торчать здесь вместе с этой курицей и остальными неудачниками до самой постановки – просто так Виктор не отпустит.

Даже странно, что она из Пермского: выворотность – ноль, ноги мягкие, «иксами» не пахнет, руки болтаются в пор-де-бра. Жалкое зрелище. На что она рассчитывает, я не знаю. Прыжка я ещё не видела, но Виктор и не даст сегодня – весь вечер будем тереться у станка, ну и, может, прогоним пару комбинаций на середине.

Какие-то десять минут класса, и она вся потная – и это задолго до батманов. Я стою в центре класса, но и здесь разит, как в конюшне. Наклоняясь в очередном пор-де-бра, нюхаю собственную подмышку. От меня тоже воняет. Но я с утра скачу с общей репетиции на сольную, а потом ещё и в этот «мусорный» класс. Скорее бы уже спектакль.

Я знаю «Сильфиду» наизусть, не только свою – все партии. Я смогу станцевать всё одна: и за Джеймса, и за Эффи, и за всю эту их шотландскую родню.

В этом году маленький выпуск, девочек всего шестеро... Нет, пятеро. Конечно, пятеро – никак не привыкну, что Дашки больше нет... Так вот из пятерых: Каринка выбыла надолго – так что она тоже не в счёт, Таня и Эмма безнадёжны, а Лера вечно, как неживая. Если бы только я верила в «партию Жертвы», даже не знаю, кого из этих несчастных предпочла бы для неё.

Таня в детстве перезанималась гимнастикой, нарастила мышцы, как у бодибилдера, а потом молилась, чтобы переходный возраст убрал их, сделав из неё балерину. Но – о, ужас! – с возрастом тело не вытянулось, а, наоборот, раздалось, так что теперь на эту грудь сала в пачке без слёз не взглянешь.

У Эммы жуткие ноги: природных данных ноль, поэтому, хотя работает она как вол, выглядит не выпускницей, а первогодкой-переростком.

Лера по жизни ползает, как сонная муха, как ни орал на неё Виктор, но при идеальном батмане выдать хоть малейшую эмоцию она не способна... Каринка разве что могла, поднапрягшись, дотянуть до меня, но и та сломалась. Должна была.

А я не ломаюсь. Я буду танцевать, как никто до сих пор. Меня видел Самсонов, видели все – а теперь я докажу им на сцене, что я и есть Воп...

Новенькая в арабеске заехала ногой прямо в лоб третьегодке. Я от смеха чуть с позиции не свалилась. Ну, вообще! Знала бы, что тут такое, не вписалась бы в этот бред! А ведь говорила мне Коргина: «Женя, вам там делать нечего. Нужно сконцентрироваться на спектакле...» Хотя, конечно, она прекрасно знала, для чего я рвусь в эту богадельню.

Никогда моей ноги не было в этом классе для «прокажённых», но вот снизошла. Сама виновата. Вечно «в каждой бочке затычка», и тут должна всё первая узнать, всё увидеть. Как будто был хоть малейший шанс, что её введут в постановку за три недели. Да Самсонов не

пошёл бы на это, даже если бы она танцевала как Вишнёва! И я знала это, но всё равно напросилась в класс. А теперь в ушах звенит мерзкий голос Виктора: «Девочки, смотрим на Женю!», «Женечка, покажите», «Женечка, ещё раз!». Слышу его визг, и блевать хочется.

Но он не должен об этом знать. Ни за что. Он считает себя моим любимым репетитором. Готовит со мной сольные вариации из «Сильфиды» – оттачивает каждый шаг до совершенства. О, в этом он хорош! Видит партию так, как будто сам танцевал. Ищет новые нюансы, связки, которые пойдут именно мне – кто бы что ни говорил, а у него нюх на это, как у пса. Он сделает мою партию неповторимой. Такой, чтобы меня запомнили и взяли на стажировку в Мариинку ещё до выпуска. Поэтому он мне нужен.

Но я не забуду. Никогда не забуду, как орал на меня, когда я была первогодкой. Как хлестнул однажды скакалкой по ногам. Не за технику, конечно, – она у меня всегда была идеальной – за дисциплину. Теперь считает меня своей лучшей выпускницей. Всем затирает про «свою Женечку». Ага-ага! Встретимся через год у служебного входа в Мариинку, и, может, – хотя и вряд ли – я сжалюсь и дам тебе автограф.

## Глава 3

### Алина

### Вечерний класс

Ронд ан деор на высоких полупальцах. Я неудачно развернула ногу, и мышца в паху, кажется, вот-вот треснет. Виктор смотрит на меня в упор и, остановив музыку, начинает считать: «пять... десять... пятнадцать...». Он считывает взглядом мою позу, морщится, словно ощущая, как мне больно. Он знает, что исправить положение, не выйдя из позы, я не могу. Но продолжает считать, а я должна терпеть, чтобы в следующий раз не повторять этой ошибки. «Двадцать... двадцать пять...» Терпеть. «Тридцать... тридцать пять...»

Даже самые малотехнические девочки в вечернем классе смотрят на меня, как на странное нечто. И, конечно, видят все мои ошибки, хотя и сами не идеальны. Женя только идеальна. Машет ногой в батмане, и я чувствую, как от неё идут размеренные колебания воздуха: чётко, как маятник. И легко, хотя её спина блестит от пота: его не спрячет даже лучшая ученица. Но у неё, вот странно, пот – единственный признак натуги. Каждый выпад – свободный, каждое движение – открыто. Я бросаю взгляд в зеркало и вижу собственное перекошенное лицо. Хорошо, что она не видит. Она поглощена движениями, ни на кого не смотрит. А уж меня-то в упор не замечает.

– Выправь ногу, милочка, выправь! Где выворотность?! – Слышу визгливый голос прямо над ухом.

Он больно тычет в оттянутую в тандю голень, а когда я не меняю положения, хватается за неё и с силой выворачивает наружу:

– Я должен это видеть вот так, понимаешь ты это?

Я пытаюсь удержать ногу, но перенапряжённая мышца разворачивает её в прежнее положение. Виктор хлопает в ладоши, и музыка смолкает. Он смотрит на меня. Это взгляд опытного балетного репетитора: взгляд-расчленение.

– Милая, мы слышим хорошо?

Я киваю.

– Слово «выворотно» знаем?

Киваю.

– Сделать в состоянии?

Я выворачиваю ногу от бедра так, что, кажется, тазовая кость вот-вот воткнётся куда-то не туда и застрянет там, развороченная, как у сломанной куклы.

– Мы работаем так в каждой позиции, – Виктор смотрит на меня немигающим взглядом.

Он говорит с бездарностью.

– Начали, – он хлопает в ладоши, и музыка возобновляется. – Два батман тандю вперёд, два батман тандю в сторону. Три батман тандю под руку, три – назад. И целый крест. Деми-плие. Всё обратно.

Он не выносит слёз, ещё вчера я поняла это. Девочка с четвёртого года застопорилась на гран-батмане. Я-то знаю это жуткое чувство, когда мышцы просто не тянутся. Накануне всё было нормально, полчаса назад всё было нормально, но в тот момент, когда смотрит репетитор, – бац, и всё – как отрезало. Я – негнущееся полено. У неё хорошие данные, хотя и видны проблемы с весом, но это переходный возраст. Кому, как не репетитору, знать об этом. Но он, стоило ей недотянуть несчастный батман до экарте, ну просто взвился. А когда она начала всхлипывать, стало только хуже.

Поэтому я, стискивая зубы, стараюсь держать эмоции в себе, чтобы не стало хуже. Стараюсь держать, но знаю – хуже всё равно станет.

Сегодня утром Эльвира Альбертовна вытащила с каких-то антресолей альбом – я таких в жизни не видела – огромный, с плотными картонными листами, между которыми вклеена полупрозрачная калька. По тому, как она тряслась над ним, было ясно, что это что-то очень ценное. Я решила сначала, что это фотоальбом из её юности. Но нет. Это оказалась коллекция. Она собрала собственную коллекцию Воплощений.

Здесь были газетные и журнальные статьи и фотографии балерин начиная с Павловой и заканчивая современными звёздами Большого и Мариинского. Но только Воплощения. Точнее те, кого она считала такими. Её главной гордостью были совместные фото – судя по изменениям в её внешности сделанные десятки лет назад – с Плисецкой, Ананиашвили, Колпаковой... Но особенно она гордилась автографом Нуреева, который взяла у него, когда тот приезжал в Мариинку в конце восьмидесятых после многих лет жизни за границей. На фото Рудика – так она его называла – стояла не только его подпись. Рядом с пожеланием крепкого здоровья и долгих лет «Эльвирочке» было и второе имя: Марго Фонтейн.

Она была многолетней партнёршей Нуреева в Королевском балете Великобритании. Встретила его, уже собираясь завершать карьеру, но их дуэт вознёс её на новый, абсолютно недостижимый уровень. Их па-де-де долгие годы считалось эталонным. И всё же странно, что Нуреев заморочился тем, чтобы собрать на своих фотках и её подписи. Ведь он был Воплощением Искусства. А она – нет.

Хотя Эльвира Альбертовна так не считает. Она уверена, что и Фонтейн, несмотря на откровенно плохие ноги, была Воплощением. Ей, мол, подтвердил это сам Нуреев.

Он и о Жертвах, по её словам, рассказывал. Якобы помнил их, растворившихся в танце. Бред, конечно... Но она говорила так уверенно, что я не стала спорить. Великий Нуреев был падох на сенсации, мог и приврать о том, что помнит тех, кто стал Жертвой ради него. Для всех остальных они словно бы и не жили, так что правды всё равно никто не узнает...

– Музыка, милочка, музыка!

От голоса Виктора у меня взрываются уши. Он произносит слово «музыка» словно повизгивая: «музыка». Так нелепо.

– Ты слышишь хоть что-нибудь?! Скажи мне, для кого это всё? Ты же мимо такта делаешь!

Я пытаюсь перестроиться и поймать музыку, но выходит плохо. Резкий хлопок, и в зале воцаряется тишина.

– Мы делаем пор-де-бра вперёд, а не заваливаемся, как поломанное бревно! Женя, покажите.

Идеальная Женя склоняется в идеальном пор-де-бра, и класс почти синхронно выдыхает.

– Ты видишь? – Опять ко мне. – Руки, как у дохлой курицы, не болтаются! Идёт наклон, а не шатание туда-сюда! Повтори.

Все глаза на меня. За что? Снова пот. Тот мерзкий, холодный. Сейчас будет плохо, и я это знаю. Они припиливают меня взглядами к станку. Второгодки, которым, похоже, уже светит отчисление, хотя только вчера они радовались, что поступили в недостижимую Вагановку, шепчутся. Третьегодка, которую я вчера задела, отступает назад, как будто моё пор-де-бра ядовито. Идеальная Женя впервые за всё время смотрит на меня и кривится. У неё яркая мимика – то, что надо для балета. Я догадываюсь, о чём она думает. Как и все здесь: первогодки, репетитор, да и я сама, – идеальная Женя знает, что я сейчас слажаю.

Я цепляюсь левой рукой за палку, встаю в первую позицию. Слышу собственное сбившееся дыхание. Правую руку, слегка согнув, поднимаю вверх. Затем наклоняюсь вперёд. Капля пота противно скользит по спине. Возвращаюсь в первую. Отклоняюсь назад, прогибаясь под лопатками. Мёртвая тишина взрывается визгом:



– Это что?! Что я только что говорил, милая? Руки держим! Не болтаются руки – можно это понять? Напряжение в кисти, напряжение в предплечье – дай мне движение, – он взмахивает рукой, показывая, – это всё не должно как тряпки болтаться! Повтори.

Класс молчит. У меня от их «переглядок» мурашки. Дыхание вырывается какими-то неровными толчками, и я не могу сделать полный вдох, воздух застревает в груди. Он стоит где-то там, поперёк диафрагмы, когда я повторяю движение, стараясь напрягать руки, насколько могу.

Виктор качает головой:

– Мне это не нравится, милочка, нет. Что у тебя по классике?

– Три, – выдавливаю я.

Я ни на кого не смотрю, но подмечаю в зеркалах, как девчонки снова переглядываются.

– Я не вижу работы на три.

Он отворачивается и хлопает в ладоши. Все возвращаются к станку, а женщина за пианино начинает долбить всё те же гаммы. Она единственная не смотрела на меня только что – читала роман, втиснутый на пюпитр рядом с нотами. И сейчас читает, глядя мимо нот. Для неё крики Виктора не более чем фон. А для меня...

Не три, это значит – два. Два – это отчисление. Отчисление на выпускном курсе – это конец. Снова перехватывает дыхание, но на этот раз от подступающих к горлу слёз.

У меня не такая плохая техника! Да, мне далеко до этой Жени, далеко даже по данным, не то что по выхлопу, но я могу танцевать! У меня прекрасная музыкальная память, покажите мне любую комбинацию, любую вариацию – и я с первого раза запомню! Но я ненавижу, когда на меня пялятся, как сейчас. Ненавижу, когда орут. Только из-за этого я как ватная. И ничего не получается...

Слёзы катятся сами, а я не могу даже вытереть лицо – держу руки в третьей. Ещё и нос заложило – дыхание снова мимо ритма. Всё плохо. И утром я знала, что так и будет.

В этом городе, похоже, никогда не бывает светло: небо словно замазано плотным слоем серого сценического грима, и полдень легко спутать с вечерними сумерками. Рука сама потянулась к выключателю – щелчок – и кухню залил тусклый масляно-жёлтый свет, такой же липкий, как и клеёчатая скатерть, на которой лежал альбом.

Среди пожелтевших страниц я нашла ещё одну фотографию. Выцветший чёрно-белый снимок девушки, которую я не узнала, хотя что-то в её чертах казалось знакомым. Я долго копалась в памяти, пытаюсь сообразить, кого она мне напоминала, но сама удивилась, когда меня, наконец, озарило: неужели ту самую Фонтейн?..

Но это была не она. Агата – так её звали – оказалась подругой Эльвиры Альбертовны по Вагановке. Она отказалась от эвакуации из-за оставшихся в городе матери и сестёр и погибла в блокаду. Как и все балетные, она, конечно, мечтала оказаться живым Воплощением Искусства, но танцевать на настоящей сцене ей так и не пришлось.

Свет лампы, порождая нагромождение длинных бесформенных теней, только сбивал с толку, и чтобы получше рассмотреть фото, я решила подойти к окну. Но, отдёргнув плотный тюль, содрогнулась от отвращения.

За заляпанным стеклом между широкими рамами были навалены яблоки, груши, мандарины. Размякшие кучи гнилых до черноты фруктов, поросшие зеленью и усыпанные белёсыми жирными личинками. Среди них копошились черви, ползали огромные мухи.

– Что, попортились, дочка? – Хозяйка прошаркала к окну и отдёргнула тюль ещё шире. – Надо перебрать, мало ли на компот ещё что-то... Кое-что...

Она стояла рядом со мной. Так близко, что я чувствовала, как ходят ходуном её руки. Немошная, полуслепая – внутри у меня поднималась жалость. Но, заметив, как у края её рта с неподвижной стороны лица подтекала слюна, капая с подбородка на засаленный халат, я ощутила тошнотворную горечь во рту.

Как я ни ругала себя за эту неуместную брезгливость, даже сейчас что-то словно распирает изнутри: от одного воспоминания тошно.

Ассамбле в третий арабеск. Виктор смотрит на меня и хлопает в ладоши. Я боюсь того, что вот-вот услышу. Но он выдыхает:

– Закончили, девочки. Завтра жду снова. Женя, спасибо.

Идеальная Женя делает классический поклон. И улыбается хищной сценической улыбкой.

## Глава 4

### Алина

### Вечерний класс

Фраппе. Открываем ногу в сторону. Три плие. Деми-ронд. И пти-батман с рукой.

– Ну спину-то держать надо, милая!

Голос Виктора слышен сзади, и какие-то пару секунд я всё ещё надеюсь, что он обращается не ко мне, хотя ощущение деревенеющих под его взглядом мышц не спутаешь ни с чем.

– Здесь напрягать надо! – Он больно тычет меня в бок. – И здесь.

Очередной тычок под лопатки. Там, где он касается, надолго остаются красные следы. А потом краснота сходит, и проступает синюшность. Ещё в Пермском я привыкла смазывать синяки «Лиотоном»... Запах отвратительный, зато реально работает – только мазать надо толстым слоем. Но накануне вечером я перерыла комнату вдоль и поперёк и не нашла его: и куда только сунула?

А ещё вчера я сорвалась и впервые за последний год наелась так, что больше не лезло. Наелась её котлет.

К вечеру от голода у меня сводило живот. Может, сказывается стресс, но мне хотелось мяса, да так, чтоб посочнее и пожирнее. Она, как и накануне вечером, жарила котлеты. И, конечно, предложила мне, а я не удержалась.

Мясо я ем регулярно, но в основном постную говядину. А тут – котлеты. И не какие-то там на пару, а жаренные на настоящем масле! Да и запах стоял такой, что слюна разом переполнила рот. Короче, я набросилась: лопала одну за другой, так что жир капал с подбородка.

Вымазавшись в жиру, я потянулась в буфет за салфетками. Пачка лежала за стеклом, но пока я возилась с ней, случайно задела соседнюю деревянную створку. Рассохшаяся так, что не входила в проём, она приоткрылась, выставив напоказ содержимое буфетной полки. Стены выстлал густой мох плесени, похожий на чёрный меховой ковёр. А в глубине плотным рядом стояли хлебные буханки, высохшие и скукожившиеся, как жуткие мумии.

Я к хозяйке: «Тут хлеб испортился у вас...». А она у плиты копошилась, в мою сторону даже не взглянула: «Да я же, дочка, как войну пережила, ни разу ни горбушки не выбросила... Это всё ещё ничего, пригодится... Кое-что срезать, в молочке размочить, и в котлетки вот пойдёт...».

Она что-то ещё рассказывала про то, как, убираясь в бараке, в котором их разместили в эвакуации, радовалась, случайно найдя в каком-то углу зачерствевшую до состояния «дерева» корку. А у меня в голове вертелось только одно: «в котлетки пойдёт... в котлетки...».

Тошнило меня долго. Как в лучшие годы, когда я тряслась за каждый грамм веса и после любого перекуса меня выворачивало наизнанку. В то время мне казалось, что это нормально, я «просто следила за весом». Пока кости не начали выпирать. И болеть. Пока голова не начала кружиться в обычном плие. Мне было пятнадцать, когда куратор нашего курса вызвала меня к себе. Обычно у нас ругали за лишний вес, но со мной всё было наоборот. «По технике откат, по общеобразовательным откат», – констатировала она.

Я и в зеркале каждый день этот откат видела. Серое лицо, круги под глазами, а волосы... Я в слив ванной боялась заглядывать. Тогда казалось, что прекратить просто. Ну что такого, разве сложно оставить в желудке то, что съел? Но вышло по-другому. Тошнота не проходила, голова весь день кружилась – жесь ещё та. Я терпела, как могла, так и шла в класс, стиснув зубы, а наклоняясь в пор-де-бра, боялась, что меня вырвет прямо под ноги соседке по станку.

Вообще, два пальца в рот и слабительное – наши лучшие друзья, особенно перед контрольной аттестацией в конце года. Все трясутся перед взвешиванием, снимают даже серёжки.

Я тоже так делала, а когда в подростковом возрасте тело начало меняться, перепугалась так, что начала «следить за весом».

Теперь, сидя на грязном полу в туалете, я вспоминала, сколько времени проводила раньше в той же позе. «Столовая – туалет – класс» – вся моя жизнь. Мне казалось, что вместе с рвотой из меня выходило несовершенство, никчёмность, слабость, боль, промахи – всё, что мешало мне быть лучшей. Я готова была на жертвы ради собственного будущего, а оно представлялось далёким и прекрасным. Но сейчас оно, кажется, вот уже, как на ладони. Я подняла руку и разжала пальцы. Пусто.

Она всё ещё толкалась у плиты, когда я вернулась на кухню. Ссохшаяся, как тот мерзкий хлеб, и сторбленная старуха медленно раскачивалась из стороны в сторону, а её тень, скользившая по стене, походила на оплывший огарок свечи. Сняв с огня очередную порцию котлет («Завтра кошечкам отнесу, ждут ведь, мои хорошие...»), она отошла к столу за миской фарша. Она двигалась от плиты к столу и обратно, а потом к почерневшей от ржавчины мойке... Но тень оставалась на месте.

Да, я могла поклясться в том, что видела. Точнее, её тень – та, что силуэтом походила на свечной огарок, – двигалась, но была и ещё одна. Недвижимая. У плиты, там, где на стене плясали отсветы бледно-синего пламени горевших конфорок. Как только старуха вернулась туда, темнота сгустилась прямо за её спиной. Мгновение спустя я сморгнула видение, и оно рассеялось, растворившись в шедшем от плиты горячем мареве. Померещилось – не иначе.

Я научилась подмечать неестественные тени ещё в детстве, когда впервые встретила Призрачную балерину. Она появлялась точно так же – из тёмных пятен, мельтешивших перед глазами на ярком солнце, из неестественно, против света ложившихся теней... Но только что мне просто померещилось. Это не могла быть она. Не после стольких лет.

Впервые я увидела её в шкафу, где всё было пропитано маминым запахом. Тёмная тень, сгустившаяся в углу, обернулась девочкой в балетной пачке. Это она рассказала мне, что мама растворилась в танце. Что она стала Жертвой ради Воплощения.

С тех пор я дни напролёт просиживала в шкафу – поджидала Призрачную балерину. Когда она появлялась, мы обсуждали мамины номера – назвать это слабое подобие танца «партиями» язык теперь не поворачивается – и день пролетал быстро.

Вскоре мы с папой поехали в город – к доктору, у которого было много красивых игрушек. Он разрешил мне выбрать любую, и я взяла новенькую куклу «Беби-бон». Потом долго расспрашивал о Призрачной балерине. В конце доктор сказал, что я могу забрать куклу, но, если возьму, Призрачная балерина больше не вернётся. В моих руках была настоящая «Беби-бон» – такая, какую папа ни за что бы не купил, как ни выпрашивай. Я не смогла удержаться – увезла её с собой. И Призрачная балерина больше не приходила ко мне.

Пока я возилась с куклой, доктор долго что-то говорил папе, но в конце концов отец, не любящий ходить вокруг да около, прямо спросил, не сумасшедшая ли я. Его лицо просветлело, когда врач ответил, что это не так.

А ведь Призрачная балерина предупреждала меня, чтобы я не рассказывала папе о том, что случилось с мамой.

Но дети во дворе кричали мне в лицо, что она сбежала от отца и от меня тоже. А я верила, что это не так, и хотела, чтобы и папа знал правду: мама не бросала нас – она растворилась в танце! У неё не было выдающихся данных, но она осуществила своё предназначение, указав мне мой путь в балет – путь Воплощения. Эти слова Призрачной балерины я передала папе. И оказалась у доброго доктора.

Я привезла домой из города новенькую «Беби-бон». Купала её и одевала в «самоотрочные» неказистые платица. Потом забросила, и в конце концов папа отдал её соседской девочке. Я давно бы выкинула эту куклу из головы, если бы не помнила, какой ценой она мне досталась. Я променяла на неё ответ на главный вопрос своей жизни. Ведь многие годы после

встречи с тем добрым доктором я ждала возвращения Призрачной балерины, для того чтобы спросить, почему она обманула меня.

– Препарасьон первая позиция. Гран-плие по первой. Два пируэта ан деор закончить в аттитюд круазе.

Экзерсис у станка закончен, мы работаем на середине. Я уже услышала, что у меня кривые ноги. Сутулая спина. Деревянные мышцы и косолапая стопа. Вдох-выдох.

Она мне не нравится, хотя я продолжаю убеждать себя в том, что в ней нет ничего плохого. Что плохая я, брезгующая гостеприимством немощной старушки. Но почему она вечно топчется вокруг, прикасается, будто случайно, присматривается, принюхивается? Да, я слышу, как старуха со свистом втягивает носом воздух, словно обнюхивая меня. От неё самой несёт сырым мясом и затхлостью с едва уловимым и странно неприятным привкусом сладости.

Я отворачиваю лицо от её гнилостного дыхания, но оно настигает меня, даже если отстраняюсь. Шаркая по коридору, она то и дело оглядывается, как будто боится, что кто-то идёт следом и вот-вот набросится прямо из-за спины. Шарк-шарк... Тишина. Шарк-шарк... Тишина.

Были бы деньги, я бы сняла другое жильё.

Даже ночью она не спит – делает фарш: если не на кухне, то прямо в своей комнате, мясорубка скрежещет, как будто когтями по железяке. Под дверью квартиры выстроилась батарея мисок для «несчастливых животных». Подъезд провонял мочой и кошачьей рвотой: похоже, «животинки» тоже не в восторге от её угощений.

Лёжа в постели ночью, я паялилась в темноту и ждала одного – тишины, но когда всё смолкло, стало только хуже. Мне мерещились какие-то шорохи, едва слышные скрипы. Укрывшись одеялом с головой, я замерла, боялась пошевелиться. Это плесень. Мне чудилось, будто разрастаясь из буфета, она ползёт через кухню, приближаясь к моей двери. Вот-вот она прорастёт сквозь щели и проникнет ко мне. Да, я чувствую запах – та самая сладковатая затхлость вытесняет воздух в комнате. Плесень разрастается больше и больше, ползёт по ковру.

Чёрные споры пожирают всё на своём пути, подбираясь ко мне. Я всё ещё лежу недвижимая – боюсь шелохнуться. Но они уже здесь, ползут по простыне. Чёрный саван укрывает меня. Я хочу кричать, но боюсь раскрыть рот. Вскидываю руки, чтобы закрыть лицо, но они покрываются чёрным. Плесень расползается по коже. Щекочет ступни, подмышки, живот. Я чувствую, как першит в горле – там плесень, разрастаясь, ползёт внутрь меня. Глаза! Мои глаза больше не видят! Передо мной копошащаяся тьма: прямо на слизистой, прямо на зрачках. Плесень покрывает всю меня. Мне не больно. Только щекотно и мерзко от её близости.

Интересно, когда она сожрёт меня, я стану её частью? Тоже стану плесенью?

Если так, то я знаю, что сделаю. Я выползу прочь. И поползу к Жене. К идеальной Жене. Я хочу прикоснуться к ней. Хочу пощупать, из чего сделаны её мышцы – не из стальных ли волокон? Я подползу медленно, так, чтобы она не проснулась. Подберусь совсем близко, коснусь её разметававшихся по подушке волос, почувствую аромат её кожи. А потом укрою её чёрным саваном. Растворю её в себе. Ты теперь принадлежишь мне, идеальная Женья!..

Я проснулась от странного звука за стеной. Металлический лязг с каким-то присвистом повторялся снова и снова.

От приснившегося кошмара на лбу выступил пот. Пришлось скинуть одеяло: было жарко, как будто я спала под десятком пуховых. Время на мобильнике – полчетвёртого. Стылый воздух комнаты охлаждал тело, словно касаясь кожи ледяными пальцами. Простыня отсырела, пропитавшись потом. Я снова укуталась в одеяло.

За окном выл ветер, задувая в щели разошедшейся рамы. Я отвернулась к стене и уткнулась носом в настенный ковёр – мрачный, как траурное покрывало.

Причина феерической слышимости обнаружилась утром, которое я провела в комнате, избегая встреч с ней. Сделала зарядку, комплекс приседаний, потом начала тянуться. И вот, улегшись грудью на пол в поперечном шпагате, я заметила порог под кроватью. Пришлось

подняться и отодвинуть ковёр. Дверь. Между нашими комнатами, в скрытой ковром стене, была дверь. Подёргала – заперто.

Собираясь на занятия, я выжидала, пока возня на кухне стихнет, и была уверена, что мне удастся выскользнуть из квартиры не встретившись с ней, но просчиталась. Я столкнулась со старухой на лестничной площадке. Она раскладывала по кошачьим мискам тошнотворные котлеты, которые мне довелось попробовать накануне.

До сих пор я не находила ничего странного в том, что она кормит кошек: я не раз видела сердобольных бабушек, роющихся в акционных товарах в поисках просроченных сосисок «для кошечек». Замечала их и во дворах, в окружении кошек, бросающихся на еду, как оголтелые, и готовых попутно перегрызть друг другу глотки.

Но с ней всё было не так. Пока она возилась с мисками, кошки держались в стороне. Одни притаились на ступенях, ведущих вниз, другие – на чердачной лестнице. Все ошестинившиеся, с выгнутыми спинами и выпущенными когтями, готовые то ли к нападению, то ли к защите. Дёргались усы, учуяв аромат мяса, животные шипели и скалились, но не приближались к еде.

– Я раньше и домой пускала их, дочка, – зачем-то сказала она, заметив меня. – Да убирать за ними сил нет... А уж как поцапались там две аж до мяса, да ещё ножи со стола свернули, да обкромсались, ой! И не знала, что делать...

Она закончила раскладывать котлеты и, пальцами собрав жирные остатки с тарелки, вытряхнула их над мисками. А потом, шаркая и кряхтя, скрылась за дверью. В тот самый миг кошки слетели с мест. Стоило двери закрыться за ней, как они словно с цепи сорвались. Те, что посмелей, кусаясь и царапаясь, вырывали друг у друга добычу, а те, что поумней, – захватили свою долю и затихарились на лестнице, подальше от всеобщего гвалта.

Я знала, что стоит ей показаться из квартиры – даже и с добавкой – как кошки снова прыснут по сторонам. Бросят недоеденное и ошестинятся на ступенях. Какими бы голодными ни были, они не приблизятся к ней. Похоже, они знают что-то, чего не знаю я.

## Глава 5

### Женя

### Вечерний класс

У человека, который когда-то сказал ей, что у неё есть данные, похоже, не было глаз. Или мозгов. А возможно, и того, и другого. Да и сама новенькая ни зрением, ни интеллектом не блещет: Виктор орёт, как ненормальный, долбит одно и то же, а она, как назло, лепит всю ту же ерунду. Ну смешно даже. В пор-де-бра она как коряга – так и хочется пнуть. Представляю, как бы она завалилась, вот тут точно бы посмеялись.

Ей бы индивидуалок с Виктором, да он так занят постановкой, что не возьмёт. А я бы очень удивилась, выйди она оттуда живой. Его индивидуальный класс – это феерия: орёт, скалится чуть не до рычания, хватает за руки, за ноги так, что остаются синяки. Ударить может запросто. Из репетиционного зала выйдешь либо прямо на сцену, либо вынесут вперёд ногами.

По сути это то, что с Каринкой было. Перезанималась так, что крыша зашуршала – приспичило во что бы то ни стало всем доказать, что она – Воплощение. Роль мою хотела получить, да так сильно, что поверила в легенду и потащилась в Вагановский зал. Она ждала, что в полночь сама Ваганова выйдет к ней и расцелует в обе щёки!

Как же достал этот инстаграм<sup>1</sup>! Уроды, которые админят страницу «Наша Вагановка», совсем страх потеряли: кости мне моют. Мол, мы с Каринкой не поделили роль, и вот у неё травма. «И неужели Женя Пятисоцкая ничего об этом не знает?» Одно могу сказать: дегенераты. Сами-то вы кто такие? Балетные маньяки, охотящиеся за новыми звёздами, чтобы урвать кусочек их будущей славы до того, как те вознесутся на Олимп и будут смотреть на вас сверху вниз, как на букашек!

Стоят с биноклями прямо на улице, репетиции им, видите ли, хочется увидеть. Даже лестницу приволокли – мы на втором этаже занимаемся – чтобы снимать из-за окна. Ну, нормальные люди вообще? Естественно, вся эта лажа потом сливается в соцсети – открыла на днях и чуть не поседела. Они ещё и наотмечали меня на самых дурацких фотках: там, где лицо перекошено или движение в процессе выглядит кривым. В такие моменты реально задумываешься, зачем этим людям вообще голова, если она по жизни отключена?

И эти фотографии – эти тупые фотографии – они будут ещё своим внукам под нос тыкать с гордостью. Мол, а вот ранние репетиции великой Евгении Пятисоцкой. Мы её живьём видели. И она даже ручкой нам помахала. Дебилы, и этим всё сказано.

Теперь вот им надо вытрясти наше с Каринкой грязное бельё. Я уж надеялась, что забыли об этом, а вот как бы не так! «Карина Макарова, возможно, пропустит выпускной спектакль», «её будущее в балете теперь под угрозой» – фраза-то какая, как из книжки! Один фрик даже умудрился выдать: «Макарова менее техничная, но у неё полёт!» Полёт, слышали, а? Полёт! Да где вы взяли-то этот свой «полёт»? Не иначе, как содрали опять с какой-то книжки или документалки. А я бы им сказала: «Какой полёт, идиоты? Полёт здесь никому и не снился! Как бы точку удержать да не завалиться на двадцатом фуэте – это реальность. А полёт – ну, правда, – это глупость какая-то. Нет никакого полёта!»

Они ведь и в личку мне умудряются писать: «Женя, а вы не в курсе, что на самом деле случилось с Кариной? А вы общаетесь? А как она?».

Меня трясёт, когда читаю этот бред. «Что на самом деле случилось» – как будто тут у нас просто вселенский заговор против Карины. Сдалась она всем и каждому!

---

<sup>1</sup> Здесь и далее: 21 марта 2022 г. деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Inc., была признана Тверским судом г. Москвы экстремистской и запрещена на территории России.

И вот они ждут, конечно, что я отвечу: «Да, знаю, что на самом деле случилось. Эта курица поверила легенде про Вагановский зал и припёрлась туда в полночь. Всю ночь она должна была танцевать, чтобы доказать призраку Вагановой, что она Воплощение, или... умереть».

Но всё вышло куда прозаичнее: эта корова оступилась – а ведь весь вечер пуанты для лучшей сцепки натирала канифолью – и навернулась. Колено вылетело. Банально вылетело колено, и задолго до конца ночи она уехала из академии на скорой. Да, конечно, мы общаемся – чем же мне ещё заниматься? Целыми днями я просиживаю у кровати этой калеки и вытираю ей слёзы и сопли. О, она чувствует себя ужасно!»

Но я сдерживаюсь. Я отвечаю, как святая: «К сожалению, сейчас мне известно не больше, чем всем остальным: Карина оступилась на репетиции и травмировала ногу. Спасибо вам за поддержку, благодаря ей она чувствует себя лучше».

Внутри у меня всё кипит: «Убейтесь уже все об стену! Падальщики! Запахло мертвечинкой, и вы тут как тут! Бесите все! Бесите! Бесите!»

Они и про Дашку вспомнили. Опять поток сообщений во все мессенджеры: «Неужели вы репетируете в зале, где умерла Дарья Савина?», «Это тот самый зал Вагановой?», «Почему Карина находилась там ночью?». И вот они ждут, что я буду тратить время, чтобы отвечать на эти тупейшие вопросы.

Да что вопросы! У людей хватает мозгов писать, что смерть Даши, мол, прямое подтверждение легенды Вагановского зала, а Карина-то была там и не сдохла... «Карина Макарова танцевала ночью в зале Вагановой и вышла оттуда, значит, сама Ваганова признала её живым Воплощением Искусства!» Ну-ну, котики мои, вышла! Выползла на карачках, если быть точнее. Так-то Ваганова ей показала, кто здесь Воплощение!

И почему вокруг Воплощений так много откровенно бредовых легенд? Неужели недостаточно одного того, что в нашем нелепом мире рождаются Воплощения Искусства? Это ведь само по себе невероятно! Нет же, людям мало этого, они придумывают одну сказку за другой.

Хорошо, предположим, в Вагановский зал каждую ночь приходит привидение самой Вагановой. Станцуй для неё «ту самую» комбинацию, и она признает тебя Воплощением – погладит по ручке, поцелует в лобик. Допустим, всё так. Но если вы верите в это, то верьте и в Жертв! Та, что не станцует, та, что не выйдет из зала на своих двоих – как она может быть Воплощением? Жертва чистой воды!

Дашкина смерть, Каринкина травма только для того случились, чтобы освободить мне путь на сцену – вот она логика! Да, они не растворились в танце – но кто из вас видел это самое «растворение», кто знает, что это вообще такое? Никто не видел. Никто не знает. Потому что это выдумка чистой воды! Просто легенда. И хочется вам верить в эти бредни, не замечая очевидного? И Дашу, и Карину само Искусство принесло в жертву ради Воплощения. Ради меня.

Нет же. Эту логику «диванные эксперты» принять не способны. Как угодно выкрутят, но только чтобы Пятисоцкую Воплощением не признать. Вот и несут откровенную ересь, так что читаешь, и глаза взрываются.

Есть, конечно, комментаторы поадекватней. Они пишут что-то из серии: «Давайте оставим девочек в покое, у них на носу важное выступление, а там и до выпуска рукой подать. Карина восстановится, а у Жени, безусловно, большое будущее, но все эти события и скандал вокруг них могут помешать им настроиться...» Но их быстро затыкают, мол, девочкам надо привыкать к публичности, они ж в балетную элиту метят!

Потом вступают мои любимчики: «Женя родилась звездой, и этого ничто не изменит!», «Женечка, ты будущая прима, не слушай никого!», «Любим и поддерживаем нашу Женьку!».



Это панибратство, конечно, тоже подбешивает. А что делать? Приходится лайкать и отвечать даже временами. Ну вот как пропустить такое: «Женечка, каждое ваше фото и видео с вами, как лучик солнца!»

Ах-ах-ах! Долбаный лучик солнца! А ведра пота – не слышали? А жуткие кривые пальцы, такие, что в шлёпках стыдно выйти! Какой там лучик солнца?!

Но это я в себе держу – не для инсты. Ещё как повесится кто-то из этих фанатиков, а свалят опять на меня. Поэтому я отвечаю: «Вы даже не представляете, как я счастлива слышать подобное! И как тепло у меня на душе от мысли, что вы, мои друзья, рядом со мной. Я работаю в надежде с каждым днём радовать вас всё больше!»

Иногда, правда, вместо «на душе» вставляю «на сердце», «тепло» заменяю на «светло», а «мои друзья» – на «мои родные люди». Последнее мне Каринка подсказала. Ну, точнее, она как-то показывала мне своё сообщение в директе одному из фанатеющих дегенератов. Там она о фанатах говорила «мои родные люди».

А на следующий день у нас в классе снимали очередную документалку для канала «Культура». У меня, конечно, брали интервью. Спросили и про поклонников, мол, не мешают ли учиться, ведь такое пристальное внимание только ещё к будущим артистам может сбивать. И тут я выдала: «Поклонники для меня – по-настоящему родные люди. У нас одна страсть – балет, и она связала нас навеки». Каринка губы кусала за моей спиной, но это я уже потом, на видео, заметила. И улыбнулась.

А сейчас улыбаюсь, глядя на новенькую. Слониха. К тому же деревянная. Да ещё и зашуганная какая-то. Трясётся, едва Виктор повернёт голову в её сторону. Прямо видно, как её колотит. Меня, правда, тоже временами потряхивает из-за него, но это если умудриться особенно взбесить. Сегодня он близок к этому, потому что много говорит. Орёт. Он обращается, конечно, не ко мне, а к новенькой в основном, но это его писклявое «музыка», да ещё «по-де-буа» вместо «пор-де-бра», «елеве» вместо «релеве» – о, до чего бесяче звучит! Этот домо-рощенный знаток французского произношения на самом деле то ли из Соль-Илецка, то ли из Усть-Каменогорска. Короче, откуда-то оттуда.

## Глава 6

### Дневник

*19 марта*

Иду, иду, иду. Невский, Стремянная, а вот и мой закуток. Глухое неприметное место, даром что до Невского рукой подать. Два шага до дома, который я в кошмарах каждый день вижу. И в котором я живу.

Иду, и ноги подкашиваются: опять туда возвращаться. Тёмный двор-колодец. Вонючая лестница. Когда поднимаюсь по вытертым ступеням, слышу эхо собственных шагов, как будто кто-то идёт за мной. Стоит остановиться, и звук чужих шагов тоже стихает. Оборачиваюсь – позади темнота. Но долю секунды я ещё слышу его. «Кто ты? Зачем ходишь за мной?»

Как сказать маме, что из общаги меня выгнали, как объяснить всё? Не знаю.

Скоро потеплеет, и сюда, на угол, снова привезут тележку с мороженым. Стас обожает трубочки с карамелью, по три штуки трескает, сколько я ни ужасаюсь. «В детстве были одни вафельные стаканчики да эскимо, а теперь столько всего... Не удержаться», – так он говорит. О форме вообще не думает, но выглядит отпадно – куда только всё уходит? Со мной не так. Питаюсь одними огурцами, и всё равно бока висят. Ужас просто.

Теперь Стаса только в классе вижу, а рядом с ним, конечно, Елецкая. Такая маленькая, тонюсенькая, костлявенькая, что смотреть страшно. Но Стас её только и видит. Обманщик. Меня в упор не замечает. Даже когда в коридоре после репы чуть не столкнулись, молча мимо прошёл. Как будто и не было ничего.

Никогда не забуду, как он выбросил ту программку. Разорвал и швырнул в урну. «Ничего там не было!» – он врал, конечно. Он тогда узнал, что с нами будет. И не сказал мне. Надо было к стенке его прижать, вытрясти это! Но я, как всегда, размазня...

– Ну как ты можешь не верить? Ты же танцовщик! – В ушах звучит мой собственный голос.

– Да ну тебя! – отмахнулся Стас. – Программки типография печатает. Они все одинаковые! У тебя, у меня, вон у той тётки... – он показал на пожилую даму в жемчугах, поднимавшуюся из гардероба в фойе. – С чего вдруг там будет что-то особенное?

– Ну давай только разочек попробуем! Искусство говорит с теми, кто способен услышать!

– И мы с тобой, конечно, те, кто способен! – Стас рассмеялся мне в лицо.

– Тебе что, пять рублей жалко? Мне же так интересно!

– «Пять рублей жалко»! – передразнил Стас. – А ты прям из «новых русских»! Ладно, достало спорить, давай.

Мы купили две программки. Это была «Пахита» в Михайловском, куда мы, как обычно, попали по контрамаркам – они всегда есть в училище. На галёрке под самым потолком были наши места. Там-то мы и решили открыть программы.

«Если обещаешь свою жизнь Искусству, оно будет говорить с тобой. О прошлом, о будущем, о чём угодно. Для этого и нужны программки. Кто-то видит только список действующих лиц и либретто, но Искусство способно сказать гораздо больше... Если ты из тех, кто слышит».

Это она мне сказала. Эльвира.

«Ну и как её вертеть-то надо, чтобы увидеть этот таинственный шрифт?» – даже попытка рассмотреть листки на свет ничего не дала. Никаких намёков, никаких ответов. Обычная театральная программа. Разочарование. И, как обычно, Стас оказался прав: если Искусство и решится поболтать с кем-то, то это будет кто угодно, только не мы...

Я смотрю на него, но... что с его лицом? Застывшие перекошенные черты. Смятый листок программки дрожит в его руках.

– Что с тобой? – беспокоюсь я. – Дай посмотреть!

Я тянусь к листку, но он отдёргивает руку.

– Ничего там нет! – Его голос звучит слишком резко. На нас оборачиваются зрители, рассаживающиеся вокруг.

– Эй, ты чего? – шепчу я. – Дай посмотреть!

– Да отстань ты! – выпаливает Стас и суёт программку в задний карман джинсов.

В антракте он выбросил её, так и не показав. Что в ней было, я знаю только теперь.

Мне говорят: «Повезло, что не отчислили». Но это ректорату невыгодно – скандал замять точно не удалось бы. А так всё тихо, шито-крыто. Ужасная тишина. Она вокруг меня сжимается стеной. Казалось, тяжелее всего должно быть в училище – никак не привыкну академией называть – но нет, хуже всего дома. Наедине с собой. Точнее, наедине с ней.

Дома – значит здесь, в этой ужасной квартире. Среди убожества: развалюшной мебели, выцветших и ободранных балетных афиш, скрывающих обшарпанные обои в жутком коридоре. Он ведёт в преисподнюю – не иначе. Оттуда она и выходит каждый день.

Я боюсь её. Сначала вроде ничего было, она всё что-то суетилась вокруг меня: «Может, покушаешь?», «Я ванную не занимаю, ты же после занятий», «Музыка мне не мешает, пожалуйста, практикуйся». А потом... Она же ведьма настоящая. Иголки какие-то везде в квартире понатыканы: в углах, в косяках дверных... Гетры мои исчезли сначала, а потом нашлись совсем в другом месте, истыканные какими-то длинными иглами так, что выглядели сшитыми. И надо ж было надеть их после такого! Теперь каждую ночь от судорог просыпаюсь, если вообще заснуть удаётся.

Вечерами она точит свои огромные мясные ножи: «вжих-вжих», «вжих-вжих». Они потом в раковине валяются окровавленные. И каждый раз, глядя на них, я спрашиваю себя: где она берёт мясо? Сколько раз сталкивались в продуктовом на углу: в мясной отдел она даже не заходит. А морозилка всегда забита.

Ночи напролёт она у моей комнаты простаивает – приходит после полуночи и стоит до самого утра, только половицы поскрипывают. И дышит так тяжело, со свистом, да ещё сама с собой разговаривает – не переставая бормочет что-то быстро-быстро. Раз только расслышать удалось, правда, не всё – только слова отдельные: «Острой иголочкой», «Шёлковой ниточкой», «Прибери, да зашей»... Совсем, похоже, того она уже.

К двери подойдешь, прислушаешься – тишина. Шаг в сторону, и снова что-то скрипит прямо за порогом, и снова шёпот этот монотонный. У меня сердце колотится, как бешеное, дыхание перехватывает. Сжимаюсь, в угол кровати забиваюсь, и так сижу до утра. Глаз не сомкнуть, какой там сон! С рассветом она уходит. Тихо так шаркает, но я слышу. Идёт через кухню, потом в коридор и к себе. Всё стихает, и я ложусь, но лежу без сна. Жутко так, что ноги трясутся.

Трясутся они у меня и на занятиях. Ни одного па чисто. Поддержку не могу сделать, нет сил. И это за месяц до выпуска – да мне работы не видать! Конечно, после скандала ясно стало, что Мариинку и Михайловского не увижу, как своих ушей, но теперь вообще не знаю, чего ждать. Педагоги не кричат, как будто не замечают, как съехала моя техника. Теперь я для них что-то вроде мухи – отмахнулись и ладно. Я не знаю, как выдержу это. Как дотерплю до выпуска в этой жуткой изоляции, в этом кошмаре. Я включаю воду и рыдаю в душе после класса. Белугой реву.

Как же я хочу домой. Ужасная усталость. Такая тяжёлая, что кости ломит. И в голове какой-то сумбур. Всё крутится и крутится затравленный взгляд Стаса, когда нас застукали, вытянувшиеся лица репетиторов, крики ректора.

Я боюсь, что больше он никогда не подойдёт ко мне. Никогда не назовёт меня по имени. Услышать бы ещё хоть разок, как он его произносит! Пусть другие ненавидят. Пусть презирают. Пусть смотрят, как на отбросы. Он один для меня важен. Неужели нельзя у судьбы выпро-

сильно его одного? Не театр, не славу – его одного. Только бы он был рядом. Как раньше. До того, как начался этот кошмар.

## Глава 7

### Алина

### Заперти

Я плачу весь вечер. Тянусь, сотрясаясь от рыданий, в первой позиции – плачу, во второй, четвёртой, пятой – плачу. Этим вечером я не в классе. Она заперла меня. Заперла в этой жуткой квартире, и я опоздала на занятия. Я включила музыку на телефоне, начала разогреваться – и разрыдалась. Меня уже тошнит от собственных слёз. Я икаю и задыхаюсь, но стоит отхлебнуть воды, как истерика начинается снова. Я пытаюсь собраться – выдох, вдох – не помогает. Я опускаюсь в плие, опираясь на трюмо, и реву. Я тяну носок в тандю и реву. Я больно бьюсь ногой о кровать на рон-де-жамб – и теперь реву ещё и от боли.

Вчера подписалась в инстаграме на страницу фанатов Вагановки и уже начиталась о себе откровенной дичи. «Топочет, как слониха», «Да она косолапая», «Трясётся на плие, как будто штангу поднимает», «Красная, как рак» – это всё обо мне пишут люди, подглядывавшие с улицы за нашими занятиями в классе. Люди, которые ни разу не видели моего танца, ни разу не говорили со мной. Они подсматривали за мной и снимали на телефон сквозь грязно-мутное стекло. Где же им увидеть всё, как есть?

Только я могу показать им. По лицу текут слёзы, а по спине – пот, но я продолжаю. Держу батман на двадцать, тридцать, сорок счётов.

Она меня заперла.

Проснулась я поздно, после двенадцати. Поприседала, потянулась, пошла в душ. Я поняла, что её нет, почти сразу. Было тихо. Очень тихо. Когда она дома, слышно то шарканье её стоптанных тапок, то скрежет мясорубки, то шорох газовой колонки... Сегодня не было слышно ни звука. И мне это очень понравилось. Я вдруг вздохнула свободно, ощутив, как приятно не чувствовать на себе взгляд этих мутных глаз. Приготовила завтрак и с удовольствием поела.

Позвонила папе. С тех пор, как я приехала, мы только в эсэмэсках переписывались: интернетом он не пользуется, а звонить не хотелось, чтобы не врать про общежитие. Но в конце концов я собралась с силами. Его обычное «слушаю», «принято», «на связи, дочь» звучали сегодня как-то даже мило. Я поняла, что скучаю по нему. Он спросил, хватает ли мне денег, и я ответила, что да. Ему ещё не перечислили подъёмные, а значит прислать мне ещё он всё равно не сможет. На еду и интернет есть. Пуанты вот, конечно, скоро менять. Обычно я убиваю пару за три-четыре недели, но эти уже дышат на ладан, хорошо, что есть ещё одни в запасе.

Я собиралась выходить около пяти, но долго провозилась, ища гетры. Так и не нашла, хотя была уверена, что вчера перед занятиями положила на трюмо. Наконец я оделась, взяла рюкзак, отодвинула щеколду замка, но... Дверь не поддавалась. Заперто. Я дёргала ручку, щёлкала замком. Вспотела так, что пришлось снова снять рюкзак и раздеться, но ничего не помогало. Я решила, что замок заело где-то внутри, и бросилась в кладовку. Мне нужна была тонкая отвёртка или что-то похожее, чтобы пропихнуть её в щель и попробовать сдвинуть щеколду внутрь замка.

В кладовке я ещё не была, боялась, что заперта, но напрасно. Дверь легко распахнулась, и в нос ударил противный гниlostный запах. Нащупав выключатель, я щёлкнула кнопкой, а потом вздрогнула так, что ударилась о дверной косяк. Передо мной была голова. Бледная кожа, пустые глазницы, а сверху копна растрёпанных волос. Мертвец... От ужаса у меня затряслись руки, но мгновение спустя обман зрения рассеялся: это оказался всего лишь керамический бюст. Сердцебиение стихло не сразу. Я становлюсь слишком нервной.

Это была голова мужчины – у бюста были крупные грубые черты лица – в обрамлении торчавших во все стороны волос старого парика. А вокруг на стеллажах громоздились какие-то ящики, коробки, банки. Я начала шарить на полках. То и дело чихая от пыли, я открывала коробку за коробкой в поисках чего-то, похожего на инструменты. Должно же быть в этом доме хоть что-то! И здесь действительно что-то было. Много чего. Первыми я нашла волосы.

Коробка показалась лёгкой, и я сняла её со стеллажа, чтобы проверить те, что стояли за ней, но уронила на пол, не удержав. По грязному линолеуму рассыпался целый ворох волос: тёмные, светлые, рыжие. Одни жёсткие, как мочалка, и спутанные, другие мягкие и гладкие... Но они были не капроновые – не такие, из каких делают искусственные театральные накладки. Невольно я провела рукой по собственной голове. Они человеческие.

У меня сжималось что-то в желудке, когда я прикасалась к ним, собирая с пола. На волосы налипли какие-то ошмётки, то ли бывшие в коробке, то ли валявшиеся на полу и раньше. Они походили на клочки шерсти, к которым присохли какие-то сморщенные коричневые огрызки. Руки тряслись от отвращения, когда я сгребала их в охапку вместе с волосами, чтобы затолкать в коробку. Мне было противно, что всё это касалось моих ладоней, оседало на одежде. Тошнота подступала к горлу от запаха гнили, но это оказалось только началом.

Вместе с волосами из коробки выпал и небольшой мешочек, из которого высыпались... Зубы. Да, это были золотые зубы. Чьи-то зубы. От ужаса я подскочила на ноги. «Нужно собрать это. Положить на место. Иначе она поймёт, что я видела». Я схватила мешочек с пола и раскрыла пошире, чтобы захватить валявшееся на полу тканью, не касаясь пальцами.

В мешке были ещё и ювелирные украшения. Серьги, кольца. Причём обручальные. Не одно, не два – много, и все разных размеров. Собрав всё с пола, я затолкала мешок в коробку.

Мне хотелось захлопнуть дверь, сбежать, но стоило ступить за порог кладовки, как понимание ударило в голову: бежать некуда. Разве что в собственную комнату, пропитанную запахом плесени, чёрными пятнами расплзшейся по потолку. Она заперла меня. И мне нужно выбраться. Да, в тот самый момент я осознала – это она меня заперла.

Я уже и так жутко опаздывала, нужно было шевелиться. Вернувшись в кладовку, я снова принялась перерывать ящики один за другим. В каком-то диком исступлении я рылась на всех полках, во всех коробках, но не находила ничего, что могло бы помочь мне выбраться.

Старое тряпье, какие-то куклы с ввалившимися глазами, обувь... Много обуви. И почти вся – одинаковая, но разных размеров. «Калоши» – по-моему, это так называется. Вроде как их носили раньше в дождь поверх другой обуви. Я видела такое в каких-то старых фильмах. Здесь был целый ящик калош. Чёрные, из толстой одеревеневшей резины, они были свалены кучей. Судя по разнице размеров, здесь были и женские, и мужские, и детские – слишком много, как будто полгорода гостило в этой квартире, и все забыли калоши. Зачем покупать столько абсолютно одинаковой обуви? Не иначе как старуха страдает патологическим накопительством и, похоже, давно.

Ещё здесь были пуанты. Целая коробка, забитая до отказа. Старые, рваные, с растрёпанными лентами, разбитым стаканом и вывороченной стелькой они воняли так, что сперва я пожалела, что открыла коробку. Но потом мои сожаления испарились, как дым.

Я увидела свёрток тонкой полупрозрачной бумаги. Руки сами потянулись к нему, а внутри я нашла чистые и абсолютно новые пуанты. Аккуратно пришитые атласные ленты, идеально подрезанная стелька – кто-то с любовью подготовил их к танцу. Но было очевидно: их носок никогда не касался паркета. Я перевернула их, чтобы убедиться – ткань пятка абсолютно чистая, без единой царапины. Внутри то же самое – ни жёлтых разводов от засохшего пота, ни бурых от кровавых мозолей. Там, на внутренней поверхности сбоку я заметила вышитые инициалы. Это была не маркировка фирмы – её я вообще не видела, – вышивка была сделана вручную. Только две буквы – «А.А.». Надо же – как мои! И размер, похоже, не больше четвёрки – мой...

Даже если старуха когда-то танцевала и сносила все эти пуанты, валявшиеся теперь вонючей кучей, словно груды тухлой рыбы под палящим солнцем, эти – точно не её. Чужие, и не только по инициалам, но и по размеру. Не похожие ни на «Гейнор», ни на «Гришко», кто их сделал? Два свежее испечённых рогалика, покрытых розовой глазурью. Они даже – или мне только казалось – не впитали этот мерзкий запах! Прележали на помойке неизвестно сколько, но их не коснулась ни вонь, ни грязь.

Рядом с коробкой пуантов был ящик поменьше. В нём я нашла старые театральные программки, отпечатанные на пожелтевшей шершавой бумаге. Похоже, она собирала их годами. Я взяла в руки ту, что лежала сверху. Стиль Мариинского: обложка с бело-синим занавесом, такая, какие они печатали раньше, правда, выцветшая так сильно, что название театра почти стёрлось. Но странно было другое. Внутри не оказалось либретто со списком действующих лиц. Вместо этого на странице был отпечатан короткий стишок:

Тот, кто верен день из дня,  
Будет награждён.  
Тот же, кто предаст меня, —  
Мукам осуждён.

Я взяла в руки следующую программку и прочла два четверостишия:

Верность мне ты докажи,  
Клятву не забудь.  
Жизнь свою мне предложи,  
Жертвою ты будь.

Ближе, ближе подходи,  
Слушай шёпот мой.  
Знай, кто жизнь мне посвятил,  
В смерти есть живой.

Я открывала буклеты один за другим, и в каждом были стихи. Выдернув одну из программ из глубины коробки, я прочла:

В вое ветра за спиной  
Слышишь шаги.  
Я иду вслед за тобой,  
Знай. Берегись.

Траур вечный день из дня  
Будешь носить.  
Погубившему меня  
В жизни мёртвым быть.

Что это? Чья-то странная шутка? Зачем она хранит это?

У меня вдруг закружилась голова, я едва не упала. Схватила за угол полки, и, стараясь удержать равновесие, спустилась с табуретки, на которой стояла. Потом вдохнула поглубже, но от спёртого воздуха стало только хуже. На несколько секунд я закрыла глаза, а когда открыла, он смотрел на меня. Бюст. Жуткие пустые глазницы. Прямой, словно взмахом ножа прорезанный рот. Бледная кожа мертвеца. Он видел, что я только что делала.

Я выскочила в коридор и захлопнула дверь. Вокруг было темно. Мобильник лежал на трельяже в прихожей. Семь часов – о том, чтобы попасть в класс, можно было забыть. Внутри вдруг поднялась дикая ярость. Мне хотелось кинуться на эту дверь, снести её с петель. Я торчала в вонючей заваленной хламом кладовке, а должна быть в классе! Завтра репетитор порежет меня на ленточки и предложит идеальной Жене нашить их на свои пуанты! Она будет танцевать в них главную партию через две недели. О, как она будет хороша!

Ненавижу проклятую старуху.

Замок щёлкнул, и распахнулась входная дверь: она.

Даже сейчас, когда сажусь в деми-плие и трясусь от рыданий, внутри всё закипает от злости, стоит только вспомнить её взгляд. Эдакая бабушка – божий одуванчик: «Батюшки, ты ещё дома! Неужели не смогла открыть дверь?»

Она сказала, что пошла кормить кошечек. Это занимает полдня, ведь она ходит по всему району, заглядывает в каждый подвал, в каждую щель. У закрытых подворотен простаивает по полчасу, если никто не выходит – кто же позаботится о «несчастных животинках», кроме неё?

Но сегодня был особенный день. Всё время до вечера – до того момента, когда мне было уже поздно идти на занятие – она провела, шатаясь по дворам. Потому что, возвращаясь в обед домой, заметила, что потеряла ключ! («Так перепугалась, дочка, что от сердца ажно две штуки съела – я их с собой всегда ношу...»)

И она снова пошла тем же путём: из двора во двор, из подворотни в подворотню, заглядывая в каждый подвал и щель, простаивая у закрытых дворов. И всё же вернулась домой ни с чем. Но – какая радость! – обнаружила ключ торчащим в дверях! «Вот же старая дура! – причитала она. – Забыла ключ в замке!»

Её история звучала складно. Голос казался извиняющимся: «Ох, доченька, совсем голова-то на старости лет отказала...». И всё бы ничего, но улыбалась она как-то странно. Да, половина её лица кривилась в странном подобии улыбки, а точнее усмешки. Она подходила ближе, прикасалась ко мне трясущимися скрюченными пальцами, словно извиняясь, и я чувствовала на лице гниlostное дыхание. От отвращения меня била дрожь. Я дрожала и не могла сдержаться: такой омерзительной она мне казалась. Мне хотелось оттолкнуть её, сбежать, не слышать её слов, не видеть мерзкую гримасу на её лице. Я уже едва сдерживалась, когда она вдруг отстранилась сама, и, как ни в чём не бывало, направилась по коридору в свою комнату. От звука её шаркающих шагов у меня внутри всё сжалось. «Старая ведьма!»

Напротив кладовки она замерла как вкопанная. «Свет! Я забыла выключить свет!»

– Ты в чулане была?

Не «дочка», а «ты». Ненавистный голос вдруг растерял фальшивые извиняющиеся ноты, он скрипел, как её проржавевшая насквозь мясорубка. Старуха стояла спиной ко мне, но я знала: она не улыбается больше. Её лицо сейчас сморщено, как гнилое яблоко, и злобно перекошено.

Я ответила, что вошла, чтобы поискать что-то из инструментов, когда не смогла открыть дверь, но ничего не нашла.

– Не испугалась Сергей Мироныча-то? – она как будто хохотнула.

Я не сразу сообразила, о чём она спрашивала. В ответ на моё молчание старуха развернулась ко мне. В глубине чёрного коридора в отсветах мутно-жёлтого света, сочившегося из кладовки, её черты казались размытыми, словно смешавшись с темнотой, они стали её частью.

– Киров у меня там, видела же?

Я, наконец, поняла, что речь шла о бюсте, и кивнула.

– Театр-то Кировский был... Там бюсты его в каждом углу стояли. Даже шутили у нас, что, мол, от бюста к бюсту иди – так на сцену и выведут. А потом Советский Союз-то всё... Ну, кому они нужны? Так мы и растащили их по домам: кто на дачу зачем-то уволок, а я вот капусту



раньше придавливала, когда солила... Это мне небольшой достался – зато какой! Красавчик! Девчонки смеялись, что я – незамужняя – самого завидного жениха из театра увела...

– А что у него на голове? – не удержалась я.

Старуха заглянула в кладовку.

– Да он же упал у меня, дочка. Полголовы снесло, только лицо и осталось. Ну, а мы с ним уже тридцать лет бок о бок, куда его – не выбрасывать же... Парик вот надела. Это из тех, что мамка после войны делала.

Старуха выключила свет в кладовке и прикрыла дверь.

– Мачеха моя. После войны народ-то был... Кожа трескается, ногти ломаются, волос ни у кого не было. А она парики, шиньоны делала, ну и вот как-то продавала из-под полы. Бабы к ней ходили, партийные даже – приходили «три волосины», а уходили «шик-блеск»...

Опять этот жуткий звук. Мне казалось, что я снова слышу скрежет её мясорубки, но это она смеялась.

Вернувшись в комнату, я ещё долго слышала за стеной её надрывный хохот. А сама еле сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Давила, душила слёзы – даже включила «Lascia ch'io rianga» Генделя, под которую люблю заниматься. Но сегодня музыку я не слышу. В такт не попадаю, собственных движений не чувствую – как будто танцует кто-то другой.

Несмотря на долгий разогрев, мышцы каменеют от холода – сегодня в этой проклятой квартире настоящий ледник. Дует из всех щелей, да ещё и с чердака, похоже, тянет. Порывы сквозняка заставляют то и дело ёжиться – не отключили ли отопление? Но, коснувшись радиатора, я обожглась.

Я решила снять ковёр с пола, чтобы танцевать на паркете. Старый и истёртый, он хорош для устойчивости – отличная сцепка с пуантами. Но то, что я нашла под ковром, меня добило. Тогда-то и прорвались долго сдерживаемые слёзы.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.